

Александр Амфитеатров

Кельнерша



Александр Валентинович Амфитеатров

Кельнерша

«Сидим мы с знакомым немцем, профессором русского университета в ученой командировке, в некотором константинопольском кафешантане. Скука страшная; безголосые певицы, сильные «дизёзки», дамский оркестр aus Wien, кто в лес, кто по дрова. В Константинополе по вечерам туристу некуда деваться: день очень интересен – по крайней мере, для охотника до старины, византийщины и азиатчины, а ночью, если вы избалованы удовольствиями, лучше спите – все равно ничего не найдете путного...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0017
III.....	.0027

**Александр Валентинович
Амфитеатров
Кельнерша**

Сидим мы с знакомым немцем, профессором русского университета в ученой командировке, в некотором константинопольском кафешантане. Скука страшная; безголобые певицы, сильные «дизёзки», дамский оркестр aus Wien[1], кто в лес, кто по дрова. В Константинополе по вечерам туристу некуда деваться: день очень интересен – по крайней мере, для охотника до старины, византийщины и азиатчины, а ночью, если вы избалованы удовольствиями, лучше спите – все равно ничего не найдете путного.

Молодая, рослая кельнерша поставила перед нами по рюмке коньяку, повернулась и ушла.

– Посмотрите, какая прелестная фигура, – указал я компаньону, вдогонку ей.

Кельнерша остановилась и обратила к нам улыбающееся лицо.

– Благодарю вас за комплимент, – услышал я насмешливый ответ на чистейшем русском языке.

– Вот тебе раз! Соотечественница?!!

– Как видите.

– Так присаживайтесь к нам, пожалуйста, разделите компанию.

Кельнерша согласилась. Это была очень красивая женщина, лет двадцати пяти – шести, не старше, с настоящим великорусским лицом, круглым и розовым; карие глаза смотрят бойко и весело, а главное – умно; сочный рот улыбается, русых волос хватит на три хороших косы... прелесть что за создание!

– Ну-с, господа, – начала она, укладывая на стол холеные белые руки, – во-первых, требуйте чего-нибудь порядочного, подороже, чтобы я имела право как можно дольше просидеть с вами; я давно не встречала русских и рада поболтать.

Спросили шампанского.

– Во-вторых, – продолжала молодая женщина, разливая вино по стаканам, – говорите, кто вы такие? Я терпеть не могу сидеть с незнакомыми людьми и только для вас, как соотечественников, делаю исключение.

Мы назвали свои имена.

– Вам не сродни писатель Амфитеатров? – спросила она меня.

– Это я сам, но – откуда вы знаете мое имя?

Оказалось, что кельнерша выписывает большую петербургскую газету, где я в то время преимущественно работал.

– Вы не удивляйтесь, что я трачу свой заработок на журналы, – улыбалась она. – Хоть я и оторвалась от России, а скучно без родного слова. Я ведь истая русачка... очень русская, как говорит тут у нас в оркестре одна еврейка.

– А можно узнать ваше имя?

– Наталья Николаевна Голицына.

– Ой, какое громкое! – пошутил я.

– Да, это мое несчастье. Помните – как в «Подростке» Достоевского: «Ваше имя?» – «Долгорукий». – «Князь Долгорукий?..» – «Нет, просто Долгорукий». Вот и я просто Голицына.

Час от часу не легче! Выписывает русские газеты, толкует о Достоевском... что за феникс такой?

– Вашу фамилию, господин А., я запомнила, главным образом, вот почему. Вы как-то раз напечатали рассказ на такой сюжет. Молодая девушка-дворянка, которой опостыле-

ли домашние притеснения от любовницы ее отца, бесхарактерного и дрянного человечиски, убежала из дому и поселилась в деревне у своей кормилицы... Вернувшийся из Америки брат застаёт сестру совсем опростелой; она даже собирается замуж за крестьянина... Так я передаю?

– Да, была у меня такая повестушка, и останется лишь удивляться, как вы ее запомнили?

– Скажите: это вымышленная история или из действительной жизни?

– Развитие сюжета, конечно, вымысел; но основа – действительное происшествие.

– Так.

Она тяжело вздохнула.

– Вы хорошо сделали, что оставили свою героиню в тот момент, когда она только собирается выйти замуж за крестьянина... Потому что – если бы вы продолжили свою повесть, – вам вряд ли удалось бы выдержать тот сочувственный тон, каким вы все это рассказывали.

– Вы полагаете?

– Да, потому что я знаю это по опыту. И если вы спросите меня: «Как дошла ты до жиз-

ни такой?» – как утраздило меня, женщину из порядочного общества, не без образования, недурную собой, попасть кельнершей в константинопольский кафешантан – я вам отвечу: всему виною мое незаконнейшее супружество с Василием Павловичем Голицыным, крестьянином... вам все равно, какой губернии, уезда, волости и села. Положим, что «Горелова, Неелова, Неурожайки то ж»! В супружество это меня толкнули черт и идея. А из супружества – после двухлетней каторги... слышите ли? каторги – вырвали необходимость и добрые люди.

Моя девичья фамилия – Сарай-Бермятова, Как видите, «во мне кипела кровь татар». Однако, должно быть, кипела очень давно. Я помню родословное дерево в кабинете моего отца; оно было преогромное – корни крылись где-то за Дмитрием Донским или Иваном Калитой. Мой отец-покойник – не тем будет помянут – проел на своем веку несколько состояний и, чтобы поправить дела, женился на купеческой вдове, очень красивой, нельзя сказать, чтобы умной, но довольно богатой: тысяч на двести-триста капитала. Единствен-

ный плод этого брака – ваша покорнейшая...

Матери я не помню: мне было три или четыре года, когда она умерла. Отца помню отлично: изящный такой, седоватый джентльмен с постоянно французскою речью и манерами маркиза. Говорят, смолоду был красавец и великий победитель сердец. Сорок лет он прожил на свете баловнем судьбы и превосходнейших наследств: все прямо в рот летели жареные голуби. «Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда». Под старость он вдруг вообразил себя дельцом... Выбрали его директором банка... Как шли в банке дела, не знаю, но в один прескверный день была назначена экстренная ревизия. Папаша в это утро встал очень веселый. За кофе он как ни в чем не бывало шутил со мной и моей гувернанткою – весьма хорошенькою офранцузенной полькой; как я потом узнала, этой барыньке не хватало только развода с первым мужем, чтобы сделаться моею мачехой. Пришел из банка рассыльный – сказать папаше, что его ждут.

– Сейчас, сейчас, сейча-а-ас, – пропел папаша на мотив шансоньетки, – я готова, готова, готова... но тсс! об этом ни слова... молчи!

Встал из-за стола, поцеловав меня в голову, пожал руку гувернантке, прошел, что-то насвистывая, в свой кабинет и... пустил себе пулю в висок! Недели три шумели газеты о его рыцарском расчете с собою: вот, мол, как умирают Сарай-Бермятовы – порядочные люди, без страха и упрека – римляне девятнадцатого века! Не знаю: может быть, это и впрямь очень красиво быть самоубийцей *a la romaine* [2]... только римляне, кажется, не растрачивали предварительно чужих денег и не делали нищими своих дочерей.

Осталась я одна-одинешенька: мне шел уже восемнадцатый год. Моя гувернантка, оплакав своего покойного благодетеля, осушила глазки и поступила экономкою *pour tout faere*[3] к одному местному тузу. На прощание она дала мне дружеский совет – последовать ее примеру, если к тому представится выгодный случай.

– У вас ничего нет, вы ничего не знаете, избалованы, не готовы к жизни; вы погубите свою молодость в бесполезной борьбе с нуждою... А между тем молодость и красота – капитал. *Ma petit chérie*[4], помните, что люди

бывают молоды только раз в жизни. Хватайте счастье таким, каким оно вас найдет.

Порядочное таки дрянцо была эта госпожа!

Я ее не послушала, а вместо того собрала свои пожитки, сколотила кое-какие деньжонки и махнула в Питер – учиться. Чему – я, когда ехала, еще сама не знала. Призыванья у меня не было; все равно – чему, лишь бы потом самой зарабатывать хлеб. Приехала: тпру! без диплома никуда не пускают. Сунулась я экзаменоваться на домашнюю учительницу: провалилась! хорошо, значит, учили дома. Пришлось готовиться сызнова.

Жилось ужасно бедно и чрезвычайно несело. Номерная жизнь и кухмистерская свели меня с множеством таких же, как и я, – чающих движения научных источников... Сложился живой кружок, подвижной и разнообразный; люди менялись в нем, как стеклышки в калейдоскопе. Перевидала я молодежь всяких окрасок: и нигилистов pur sang[5], и социалистов по Марксу, и неосоциалистов, и народников, и почвенников, и толстовцев – и во все эти окраски, разумеется, и сама поне-

множку отливала цветом, в каждую – свое-
временно. Я – настоящая русская по натуре: в
какую среду ни попаду, сейчас же попаду в
тон, заражусь ее взглядами, вкусами, манера-
ми. Один ученый человек доказывал мне,
будто это – великое качество русских, будто,
благодаря ему, они стали лучшими из коло-
низаторов. Лермонтов похвалил за него Мак-
сима Максимовича, а Гончаров – русских мат-
росов в Японии. Может быть, они и правы, су-
дить не смею; только это качество, как мне
кажется, носит в себе задатки большой бесха-
рактерности, отсутствия самостоятельной
мысли и самостоятельных убеждений. Я ни
на одном языке не встречала пословицы рав-
носильной «с волками жить – по-волчьи
выть»; это – принцип русской податливости и
уступчивости.

Совсем было приготовилась я к экзамену –
вдруг в одном кружке наткнулась на пропо-
ведь опрощения.

Проповедовал человек весьма интерес-
ный; я вам его не назову, но вы, вероятно, о
нем слышали.

В одном из его имений, в глубокой провин-

циальной глуши, уже образовалась маленькая колония опростелых... Он предложил и мне поехать туда и там отведать трудовой жизни – покупая самоудовлетворение потом, болью в пояснице и мозолями на руках. Я согласилась. Экзамены – к черту, и помчалась.

Жизни моей в колонии рассказывать не стану. Скажу только, что и здесь я, как кошка, упавшая из окна, сразу стала на четыре лапы: освоилась, вошла в колею. Всего нас было человек десять; из них три женщины. Опростелых колонистов противники ругают – кто лицемерами, кто бездельниками, кто шутами гороховыми. Я этого не скажу. Были в нашей колонии люди неискренние, дурные, актеры, тартюфы, но были и славные ребята: честные, убежденные, с глубокою верою в правду своего учения и целесообразность своих действий. И этих было большинство. Крестьяне немножко трунили над нами, считали нас как бы юродивыми, а как рабочую силу – презирали, но, в общем, относились скорее дружелюбно, чем враждебно. С гордостью могу сказать, что я много способствовала этому дружелюбию. Мужики презирали колонистов

и колонисток, главным образом, за слабосилие. Намерения-то у всех были самые усердные, да не хватало мускульной силы и выносливости, чтобы их оправдать. Худенькая, истощенная, голодная, беременная крестьянская баба легко кончала в полчаса работы, над которыми бились по два, измаивались до полного изнеможения наши, здоровенные на взгляд, мужчины... Между ними были настоящие силачи, а не выдерживали – надрывались.

– Господи! – сокрушался наш общий любимец Сереженька Z, – я вытягиваю на силомере двенадцать пудов, поднимаю карету за заднее колесо, а пройду полосу с сохой – и никуда не годен. А эти тщедушные мужичонки – как ни в чем не бывали!..

Мое воловье здоровье и выносливость пришлись в этом случае очень кстати. По деревне так и говорили:

– Все господа с усадьбы не стоят на работе медного гроша, а из Натальи Николаевны будет прок.

Действительно, работа у меня спорилась легко и весело; в поле я не только не отстава-

ла от деревенских девок, а еще и обгоняла их. Ничто так не сближает, как общность работы. Впоследствии я убедилась, что опроститься, то есть стать крестьянкою вполне, переработать свою натуру на мужицкий лад, применить себя целиком к мужицкой среде – дело вряд ли возможное. Но омужичиться – схватить внешность, ухватки, речь, даже, на время, пошиб мысли – очень легко; это совершается совсем незаметно, особенно если Бог наделил вас хамелеоновскою подражательностью, про которую я вам говорила.

Месяца не прошло, а я омужичилась – во всем, начиная с наружности: коричневый загар, «румянец сизый на щеках» – все эти прелести простонародной красоты получались налицо. У меня набралось полное село подруг и приятельниц... Я обучилась так же, как они, орать пронзительнейшим голосом песни – истинно волчьи песни – и отпускать шуточки, от которых прежде у меня завяли бы уши. Никого из нашей колонии крестьяне не приглашали на помочь, как этого нам страстно ни хотелось: ведь это было бы с их стороны признанием нашей рабочей равноправности, равносильно блистательно выдержанному экзамену трудовой зрелости. Не тут-то было.

– Ну их, господ... одно баловство: только портят либо других задерживают, – говорили несокрушимые пейзажи и управлялись в поле одни. Для меня делали исключение – и даже в своем роде почетное: как началась страда, меня не только звали на расхват, но и ставили в первые серпы... Первое время было

страшно трудно: «Ноет спинушка, руки болят» – едва разогнешься потом. Так тело изболит – хоть плачь! Но самолюбие заставляло меня владеть собою: помилуйте! как же! такой почет, – мы гонимся за мужиками, а они нас знать не хотят и только одну меня считают своею... и вдруг я покажу им, что я этого не стою, что я такая же слабосильная, слабвольная и неумелая дрянь, как все?! Да еще оглядишься: больные, беременные – все в поле, все гнут спину и не жалуются... Так мне-то как же уставать и жаловаться? Даже, бывало, станет совестно за свою силу и здоровье, когда сравнишь себя с другими. Перетерпела я несколько дней усталости непомерной, до слез доходящей, а потом и обошлась; стало все легче, легче. Вообще, мое мнение таково: нет физической работы, с которою нельзя свыкнуться – нужно только упорство и постепенность упражнения. Не надорвешься сгоряча по первому началу, тогда одолеешь труд, втянешься в него и даже его полюбишь.

– Наталья уважит, не выдаст, – хвалили меня в деревне.

Да-с, из Натальи Николаевны я была пожа-

лована в Натальи, Наташи и даже Наташки... Какое упоение! Я уверена, что за такую честь три наших колонистки отдали бы по году жизни; но – увы! одна из них была чахоточная, другая истеричка, третья хоть и здоровая, но... говорила иной раз удивительные для опростелой фразы.

– Ах, дорогая Наталья Николаевна, я так боюсь, что, когда придет NN (наш хозяин-покровитель), он останется мною недоволен. Я далека от народа, ужасно далека. Но что же мне делать? Намерения у меня самые добрые, но от них так пахнет...

– От намерений?!

– Ах, вы привязываетесь к словам! От мужиков.

Или:

– Вот вы не побоялись загореть, и это вам даже идет... А я? Ведь это ужас подумать: на что я буду похожа, при загаре, с моими белыми волосами?

Однажды же она разрешилась искреннейшим и поистине великолепным афоризмом:

– Если бы NN разрешил мне пудру и... хоть цветочный одеколон, я думаю, что мое опро-

щение пошло бы гораздо лучше...

– Вы, Лида, напишите об этом Толстому: спросите – может быть, и позволяется, – посоветовала я на смех.

Она подняла на меня свои наивные, круглые глаза:

– А что? ведь это идея!

Писала она Толстому о пудре и одеколоне или нет – не знаю. В колонии она пробыла недолго: очаровала местного земского врача и вышла замуж, утратив вместе с тем и всякое тяготение к опрощению... Впоследствии она откровенно говорила:

– Если бы я не была влюблена в NN, как кошка, разумеется, не пошла бы в эту несносную мужицкую кабалу. Я думала, что мое героичество ему понравится, а он и внимания не обратил.

В самом деле, NN, как истый фанатик, был совершенно равнодушен к женщинам; это доходило в нем до наивности; сам весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других иных стремлений, желаний и слабостей.

Опишу вам и других моих товарок. Одна – чахоточная девушка из купеческого звания –

пришла в колонию потому, что «все равно, где ни ждать смерти». Ей было лет под тридцать. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное и с огромной силой воли. Она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь. Она приехала к нам глядя на осень и, протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами.

Другая – совсем молоденькая – была из типа «талантливых неудачниц»: плохая копия с Марии Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день... Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась... спервахватила нашатырю на гривенник, а потом – когда ее выходили – сама не зная зачем, попала к нам. Были у нас гости, временные и проходящие. Помню

одну вдову-купчиху из Москвы: красивую, могучую женщину с спокойною речью и степенными манерами; ей у нас не понравилось, она ушла «на волю» после недели житья в колонии и очень звала с собою и меня, и оливковую Катю.

– Вам замуж надо, – говорила она, – эй, смотрите: плохо будет. Раскаетесь, да поздно. Вам головы не сносить: скверно кончите.

Помню одну польку из Киева. Что эту к нам занесло – решительно не понимаю. Она повертелась у нас дня два – в полном недоумении: что мы за люди? куда это она попала? Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит.

– О, душко, як же у вас тенксно, – сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что нашей гостьи уже и след простыл.

Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. NN писал мне восторженные письма: он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательство, что она не миф, не бред, что привить

культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают... До какой степени все это меня разжигало и прищпоривало, вы и вообразить не можете. Я не шутя возомнила себя в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком.

В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке.

Васька Голицын был круглый бобыль: двор у него кое-какой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет семи от первой жены, которую Василий похоронил года три назад. От земли он отбился, а жил – чем Бог пошлет: мастачил на все руки – и кузнец, и столяр, и слесарь, и медник, и лудильщик. Способностями природа не обидела, но в отместку наградила необузданною ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к «спинжаку», как окрестил это Глеб Членский. Он презирал серое мужичье, водился с волостным писарем и сельским учителем – весьма франтоватым и недалеким по уму юношей из купчиков, бега-

ющих от воинской повинности. Тогда это еще практиковалось. К нам он заходил – «для образованного общества». Мужчины Ваську недолюбливали.

– Это культуртрегер кабацкого пошиба, – горячился Сереженька, – жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка, «барышня, дозвольте разделить компанию»... вот это что! Дайте ему деньги – он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей. В нем кулак сидит, зерно кулаческое.

Мы, женщины, отнеслись к Василию с большею терпимостью. Во-первых, с ним было нескучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком: точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас; да – что греха таить? – и некоторые из наших колонистов, в своем благом усердии уподобиться мужику, пересаливали в неряшестве и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством, рисовкою: люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокет-

ничают «красой ногтей». Из себя Василий был молодец: большой, широкоплечий парень; зубы – как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивую и неприятную.

– Он – каналья, ваш Васька Голицын, – уверяли они (мы находили особенное удовольствие дразнить товарищей, выхваляя Василия), – он себе на уме. Балагурит, а в уме считает да прикидывает. Вы посмотрите, какие у него глаза – холодные, жесткие, наглые; сам смеется, а глаза и не улыбнутся.

Как-то раз на жнивье одна из подружек, полудня, говорит мне:

– Что, Васька Голицын к вам все ходит?

– Да, бывает.

– Гм... это он для тебя ходит!..

– Вона что выдумала.

– Ничего не выдумала: сам намедни в трактире похвалялся – переложил лишнее за белую шею и развел разговоры...

Помолчали.

– Ты, Наташа, будь с ним осторожнее. Он – парень, что говорить, ладный, но свинья. Через него не одна девушка плакала...

– Ну, я не таковская, не заплачу. С чем по-дойдет, с тем и отойдет...

Деревенское ухаживанье не было для меня новостью; молодежь, освоившись с моим обществом, не делала большой разницы между мною и своими девушками. Знала я и медвежьих ласки – бух ладонью со всего размаха в спину: верх любезности! Умела и отвечать на них кулаком и, когда переведешь дух, занявшийся от тяжелого удара, градом любезной ругани – не для обиды, а по душе... Но серьезно за мною никто не ухаживал, помнили все-таки, что я им не пара.

Мне было двадцать лет. Я была сильна и здорова, красива, полна жизни. Мир, куда бросила меня судьба, мне не был противен... Раздумавшись над словами моей подруги, я убедилась, что и Василий мне не противен... даже, пожалуй, нравится... Я написала NN письмо, спрашивая совета – как думает он, идти ли мне замуж за крестьянина, если представится к тому случай? Ответ получила самый восторженный: вы, мол, завершите этим подвигом блистательно начатое дело и т. д., и т. д.

В один весьма жаркий полдень Василий Голицын подкараулил меня на огородах и, без всяких предварительных объяснений, набросился на меня с самыми решительными объятиями; мне понадобилась вся моя сила, чтобы от него отвязаться.

– Баловаться не смей, – приказала я ему, – а садись да поговорим. Если я тебе пришлась по нраву, то и ты мне не противен. О дуростях и думать оставь, но коли хочешь сватать – сватай: пойду за тебя.

– А деньги какие-нибудь есть за тобою? – спросил он, почесывая затылок, с весьма озабоченным видом. – Потому – любя ты мне очень, но только без денег мне никак нельзя жениться; прямо тебе скажу: изба врозь лезет, в долгу, как в шелку, да ведь ты же еще и балованная, – будет тяжко.

Я ему указала, сколько у меня денег, то есть во что я могу обратить все, что имею. Вышло, как мы посчитали, около шестисот рублей... Василий просиял:

– Тогда и говорить нечего; этакой другой невесты, хоть весь свет обойди, не найти. По рукам, стало быть, и шабаш! На Покрова будем справлять свадьбу.

Расцеловались и объявились женихом и невестой. В колонии известие о моем предстоящем браке было принято довольно двусмысленно. Мужчины продолжали толковать, что Васька Голицын не мужик и что если уж я непременно хочу проявить на своем примере торжество идеи, то должна бы выбрать в мужа крестьянина, крепко сидящего на земле, настоящего Микулу Селяниновича. Чахоточная Агния все вздыхала и качала головой, –

очень уж ей жаль было меня. Катя, по обыкновению, разрыдалась до истерики. Лидочка вытаращила на меня свои круглые глаза:

– Но ведь он пьяница, та chère!![6]

Одним из неперемных условий брака я поставила Василию, что он бросит пить, – если не вовсе, то хоть пить допьяна. Он обещал, клялся, божился, целовал, икону снимал.

Наличными деньгами у меня было рублей двести. Сто из них я отдала Василью на поправку избы, сто истратила на себя.

Время жениховства летело быстро, и не скажу, чтобы неприятно. Я всегда была искательницей сильных ощущений, а какое же ощущение может быть сильнее игры со зверем? А Василий был именно зверски влюблен в меня. Когда я выбегала на свидание с ним, – право, иной раз становилось жутко. Сказывался в нем медведь, готовый растерзать, задушить. Раза три или четыре мне приходилось серьезно прибегать к кулаку, чтобы унимать его увлечения... Это ему даже нравилось.

– Эка девка!.. Эка зверь-девка! – восклицал он и в знак удовольствия хлопал себя карту-

зом по коленам.

Была я в него влюблена? Не знаю. Глядя по тому, что называть влюбленностью. В огонь и воду за своего жениха я не пошла бы и героем романа, хотя бы даже и сермяжного, его не вообразила. Но, повторяю, играть с ним, как со зверем, было очень интересно и увлекательно. Его чувственная страстность льстила мне, заражала меня до такой степени, что временами мне становилось скучно без этого флирта *a la russe*[7], и я с самой живою радостью встречала своего жениха, когда наступал час свиданья. Кровь играла, а ведь – говорю же вам: «Во мне кипела кровь татар». Во всяком случае, думаю, что в то время никакие увещания, никакие советы, никакие запреты не удержали бы меня от этого брака.

И вот я – жена, баба. Сначала все, казалось, шло хорошо. Очень много труда, хлопот, но их я не боялась. Очень много грубых и наивных ласк: от них я шалела. Вот когда я действительно была влюблена в моего Ваську! Работа да ласки, ласки да работа, – так и слагалась жизнь. Но уже с первого дня я заметила, что мой муж вовсе не смотрит на меня,

как на женщину; что я самка: вещь приятная, потому что она красива, покорна, доставляет много удобства, рабочей выгоды и домашнего наслаждения; но в то же время – вещь, которая не имеет ни самостоятельной воли, ни мнения, которая должна жить так, как ей муж приказывает, и не поднимать своего голоса, если не спрашивают; когда же милостиво спросят, поднять робко, просительно, советательно – не больше. Василий никогда не спрашивал моих советов. Он все делал сам и показывал мне уже сделанным; он взял мои деньги – и открыл на них в селе лавочку, меня же усадил в ней торговать, как я ни спорила против того, что он отрывался от земли.

– Глупая, – убеждал он, – что в земле хорошего? Земля – грязь, а торговля дело чистое.

Не знаю, прав ли был Сереженька, когда уверял, будто из Василия должен выработаться кулак. Думаю, что нет. Слишком широкая, разгульная натура была у моего супруга – сбивать деньги было не в его характере. Торговля наша шла хорошо, но он, ради одного бахвальства, иной раз пускал ребром последний грош: поил приятелей, зазывал и прини-

мал ночевать проезжающих купцов – с единственной целью похвастаться, какая у него нарядная изба и красивая жена «из барышень». Мои возражения он пускал мимо ушей, смеялся, не давал мне спорить, всякий серьезный разговор переводил в медвежьи ласки, на которые я, к сожалению, была слишком уступчива. Потом начал скучать моим вмешательством, не раз обрывал меня, иной раз даже при чужих, угрюмо замечая:

– Ну, поговорила, и будет... У бабы волос долог, да ум короток.

Или еще что-нибудь в том же миллом роде.

Он довольно долго держал свое слово: не пил. Но как-то раз его прорвало... Пошел в гости к учителю и вернулся пьяней вина. Это было месяцев пять спустя после нашей свадьбы. Я уже спала. Он разбудил, начал извиняться и нежничать. Я была в страшном негодовании и оттолкнула его:

– Поди прочь! Ты мне крест целовал, что не будешь пить, и присяги не сдержал. Ты скот. От тебя кабаком несет...

Тогда с... Он в эту минуту держал в руке только что снятый сапог и, не сказав ни слова

в ответ на мою нотацию, пустил мне этот сапог в лицо. А затем на меня посыпался град ударов. Я не успевала ни защищаться, ни кричать; меня молча били, я молча принимала побои. А когда я опомнилась, все было кончено: я уже боялась своего мужа, я была покорена.

Один умный человек сказал: дикая лошадь покоряется объездчику вовсе не потому, что он сильнее или умнее; она только сознает в нем волю более упрямую и злую, чем ее собственная. Она инстинктивно чувствует, что – безопасный от ее копыт и зубов – он будет ее тиранить до тех пор, пока она не сознает его превосходства и своего рабства.

Со мною происходило то же самое. Лежа под кулаками, я сознавала лишь одно: если я сейчас закричу, стану бороться, он забьет меня насмерть... И если бы вы видели Василия, вы согласились бы, что он способен был вколотить жену в гроб, но – не позволит ей торжествовать на собою.

Поутру вид моего, покрытого синяками, лица нимало его не сконфузил.

– Помни, Наташка, – пригрозил он, – я горя-

чий! мне теперь жаль, что так вышло, а сама виновата. И всегда так будет, коли ты станешь нос подымать, оказывать надо мной свою волю. Знай сверчок свой шесток. Бабье дело – у печки.

Нравственного состояния своего после этой ужасной ночи я не могу описать. Стыдно себя, стыдно соседей, – сожалеют, охают, а за спиною показывают пальцами, хохочут: что, мол, барышня, отведала мужниных кулаков? И сознание полной безвыходности положения. Ведь, по общему мнению, Василий имел право распорядиться так: ведь он муж... Вся деревня скажет это в один голос. Всех баб мужья бьют – чем я святее других, что мой не будет меня колотить? Он владелец, а я вещь, собака, ничтожество. Меня незачем любить, меня нельзя уважать, мною можно только распоряжаться. Мне – с позволения вашего сказать – «набьют морду», а потом прикажут обниматься, и – утирай слезы, обнимайся... Где же моя волюшка? воля-то где? Какой злой дух ослепил мне глаза, позволил мне охотою идти на каторгу?

Хотела бежать. Но куда? У меня ни гроша

за душой, прежние знакомые от меня отказались, из колонии муж всегда меня вытребует. Там сами-то живут – дрожат: будем ли целы? Полиция, как Аргус стоглазый, за ними следит. Где же им защитить меня? Чтобы уйти в Петербург, в Москву – нужен паспорт; да и оттуда ведь можно выписать беглую жену по этапу... Куда ни кинь, всюду клин. И все-таки я думаю, что убежала бы. Но... я была беременна. Как же – думалось – бежать от отца своего ребенка? Да и совестно: бежать, не выдержав первого же испытания... Зачем же, в таком случае, было идти замуж с такими громкими словами, такими красивыми приготовлениями и проектами.

Рассказывать вам мою дальнейшую жизнь в супружестве было бы неинтересно: слишком однообразно. Скажу одно: к концу года я ненавидела Василия так, как, я думаю, редкой женщине случалось ненавидеть мужчину; ненавидела тем злее, что приходилось ненавидеть молча. Каждое неосторожное слово вызывало ссору и драку. Василий чувствовал мою ненависть в самой моей бессловесной покорности; он раздражался этим чувством,

старался, чтобы я высказалась, задира́л меня и, когда добивался своего, приходил в страшный гнев... ну, и бил, конечно.

Родился сын. Это нас примирило было, сблизило. Что касается Василия, он прямо-таки снова влюбился в меня: так он был счастлив этим ребенком. И... черт нас, женщин, разберет! Представьте, что и я разнежилась, опять повисла к нему на шею, и мы пережили второй медовый месяц. Было же у меня, значит, какое-то серьезное чувство к нему, скоту!.. Но тут примешалось новое осложнение. Он сознавал, что очень много виноват против меня, и боялся, что я его грехов не прощу, не забуду и уже больше любить его не могу. Конечно, ничего подобного он не говорил, но я это чувствовала – в особенности по новой радости, какую подарила мне судьба: Василий стал слепо ревновать меня ко всем мужчинам. Я должна была просить колонистов, чтобы они перестали навещать меня, потому что каждое посещение давало повод к страшным сценам.

– Надоело мужичкой быть? опять в барыни захотелось? – кричал Василий, как бешеный.

ный. – И уж тут надо было либо виснуть на шею: «Миленький, мол, золотой! да Бог с тобою! что ты! что ты! я тебя люблю, люблю... променяю ли я тебя, сокола моего, на кого-нибудь?!» – либо, если уж слишком кипело в душе и не под силу было лицемерить, хоть молчать... молчать, как рыба, потому что он сам себя не помнил: пена у рта, налитые кровью глаза – и что попало в руки: полено – так полено, безмен – так безмен.

Стоило мне поговорить дольше, чем ему нравилось, с кем-либо из деревенских парней или молодых мужиков – он начинал сцену по другой логике.

– Если ты, барышня, не побрезгала выйти за меня, Ваську Голицына, так не постыдишься повеситься на шею и Петру, Сидору, Карпу и Ивану.

Словом, я жила под вечным страхом, что не сегодня-завтра мне проломают череп; по той или другой логике, но проломают неизбежно.

Между тем я готовилась быть матерью во второй раз... На самом переломе моей беременности Васька, как нарочно, запил, и сцены повторялись по нескольку раз на день. Из

колонии давно уже звали меня бежать, предлагали доставить мне если не отдельный вид, то заграничный паспорт. И вот однажды, когда мой муж, утомленный водкою и гневом, храпел на печи, а я подбирала с пола волосы, выдранные из моей косы, я решила, что мне ждать лучшего нельзя. Моя жизнь вылилась в общий тип жизни деревенской бабы: тяжкий, гнетущий труд с утра до ночи, нежности, оскорбительные ласки, вперемежку с побоями, каждый день синяки и каждый год ребенок. Надо было спасаться, пока была возможность.

Я совершенно хладнокровно взяла из избы ребенка, накинула на себя тулуп и вышла из избы в колонию... Два часа спустя я уже мчалась – спрятанная под сеном, на дне сарая, – в город к железнодорожной станции, а на завтра была в Москве у верных и добрых людей. Муж искал меня со всей энергией, на какую он был способен, когда хотел. Но найти было трудно: чужой паспорт дал мне возможность убраться за границу.

Мои здешние похождения коротки и неинтересны. Я очутилась в Вене, с ребенком на

руках и чуть не накануне вторых родов. Маленьких деньжонок, какими снабдили меня в России, хватило, чтобы не умереть с голода в это тяжелое время. Мне советовали пробраться в Швейцарию, слушать лекции в Берне или Цюрихе... Но когда мне было учиться, если приходилось кормить себя и двух ребят? Надо было зарабатывать хлеб. Как? Чем? В отчаяние приходила: расставаться с ребятами не хотелось, а с ними никто не берет, конечно, ни в бонны, ни в няньки, ни в горничные. Скрепя сердце отдала детей в деревню, в Штирии, крестьянке-кормилице, а сама поступила горничною в отель *des étrangers*[8]. Доходы были плохие: дети все съедали. А тут еще, как на грех, поссорилась с управляющим, лишилась места, осталась только что не на улице. Трудно было, ужасно трудно. Лезут какие-то маклеришки со скверными предложениями... Попробовала, не гожусь ли я в певицы, дебютировала в каком-то кафе-концерте в качестве *la belle russe*[9]... то-то провал был! Ни таланта, ни голоса, ни задора... Оставалось одно: либо – продаваться, либо – в статистики пантомимы, за крону в вечер, – то есть опять-

таки продаваться, так как на крону в сутки и кота не накормишь, не то что взрослую женщину, да еще с двумя детьми за плечами... Тут мне подвернулась – проездом из Константинополя – содержательница здешнего кафешантана. Она француженка и отличная женщина: не смейтесь – очень нравственная... на свой образец, разумеется...

– Милая, – говорит, – вы красивы, молоды, производите впечатление на мужчин, можете привлекать публику. Не хотите ли распорядиться у меня в заведении буфетом? Вам, конечно, придется иметь дело с самым разнообразным народом, с обществом смешанным, не всегда приличным, но... слова к вам прилипнуть не будут, поступков же дурных ни я, ни кто другой от вас не потребуют. А доходы будут: в два-три года можно сколотить деньжонки.

Я подумала, решила, что всякий черт не так страшен, как его малюют, и согласилась. И вот второй год я здесь. Хозяйка была совершенно права: много дурных мыслей, скверных жестов, сомнительных слов, фамильярности, но *факты* зависят не от публики, а от

нас самих. Я их не хочу, и их нет. Меня здесь любят. Мои «бакшиши» вдвое, втрое больше, чем дают другим... У меня уже есть тысяча франков, отложенных в «Credit Lyonnais». Наклочу другую-третью, и тогда видно будет, что надо делать...

Примечания

Из Вены (нем.).

[^^^]

По-римски (*фр.*).

[^^^]

На все ($\phi p.$).

[^^^]

Моя милочка (*фр.*).

[^^^]

Чистокровных (*фр.*).

[^^^]

Моя дорогая!! (*фр.*).

[^^^]

По-руски (фр.).

[^^^]

Для иностранцев (*фр.*).

[^^^]

Русской красавицы (фр.).

[^^^]